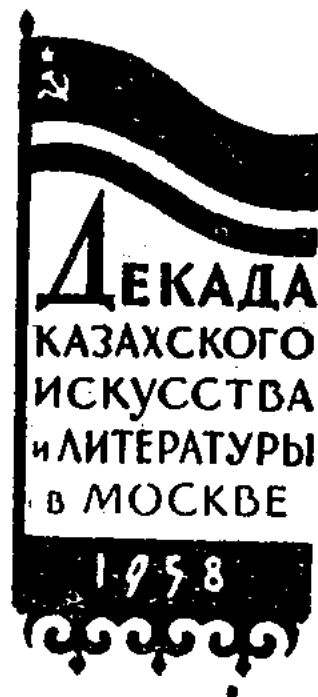




МУХТАР
АУЗЗОВ

Абай



КАЗАХСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Алма-Ата



Қ А З А Қ Т Ы Ң
М Е М Л Е К Е Т Т І К
К Ө Р К Е М Ә Д Е Б И Е Т
Б А С П А С Ы

Алматы



Мухтар Ауэзов

АБАЙ

РОМАН

Книга вторая

КАЗАХСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Художественной Литературы

АЛМА-АТА • 1957

*Авторизованный перевод с казахского
под редакцией Л. Соболева*

*Оформление и иллюстрации
художника Л. Ильиной*

П Е Р Е Д Б Р О Д О М

1

Ночь прошла без сна. Лишь на рассвете Абай ненадолго прилег, но, не чувствуя усталости, вскоре вернулся к столу, заваленному раскрытыми книгами. Рядом со староузбекскими, которые Абай читал свободно, тут лежали арабские и персидские книги, более трудные для него, и русские, понимать которые ему было еще труднее.

Эти разноязычные друзья собрались нынче к нему по особому случаю. Сама жизнь потребовала от него знаний, таившихся в этих книгах. Последние дни Абай читал и днем и ночью, словно исследователь или отшельник. Порой, оторвавшись от страницы, он удивленно оглядывался вокруг, возвращаясь к действительности.

Узбекские книги уводили Абая в цветущие сады Шираза; он видел древние мавзолеи Самарканда, отдыхал в плодоносных садах у прозрачных бассейнов

Мерва и Мешхеда, бродил по сказочным дворцам, медресе и библиотекам Герата, Газны и Багдада, родины величайших поэтов. Со страниц арабских и персидских книг сверкали перед ним кривые исфаганские сабли, которыми арабы, персы, турки и монголы в жестоких схватках решали свои столетние споры. Русские книги раскрывали перед ним тайны вод, песков и пустынь Средней Азии, Ирана, Аравии и жизнь их больших торговых городов.

Сегодняшний день этих стран интересовал Абая больше всего. Читая, он делал подробные выписки о караванных дорогах и водных путях, о крупных городах и больших базарах.

Все эти сведения были необходимы для путника, отправлявшегося сегодня в далекие края. И Абай, живо воображая эти страны, о которых столько слышал с самого детства, не раз восклицал про себя: «Жаль, что не сам я еду!»

В открытое окно ворвался прохладный ветерок. Он всколыхнул легкую белую занавеску, и та, словно озорной ребенок, принялась играть с книгами — высокий стол стоял у самого окна. Она то прикрывала страницу, мешая Абаю читать, то сползала с нее, как бы стараясь стереть письмена. Абай взглянул на дверь — в это утро она открылась в первый раз.

Тяжело передвигая ноги, в комнату вошла его мать Улжан, грузная, располневшая за последние годы. Сильная одышка стесняла ей грудь. Две женщины вели ее под руки. Абай вскочил со стула и быстро разостлал на полу мягкое корпе¹. Щеголевато одетая молодая светлолицая женщина, вошедшая с Улжан, положила подушки. Сходство ее с Абаем сразу бросалось в глаза. Это и была его сестра Макишь, жившая здесь, в Семипалатинске, замужем за сыном Тинибая, хозяина богатого городского дома, где остановился Абай. Вторая женщина, Калиха, многолетняя спутница Улжан, приехавшая вместе с ней из аула, поставила перед старухой блестящий медный таз и стала поливать ей на ру-

¹ Корпе — ватное одеяло.

ки из длинногорлого кашгарского кувшина, покрытого тонкими чеканными узорами.

Раздвинув посреди просторной комнаты низенький складной стол, Макишь сказала в открытую дверь:

— Можно накрывать, несите!

Вошла другая невестка, ровесница Макишь, высокая цветущая женщина с гладко зачесанными на висках, блестящими волосами, одетая в черный бархатный камзол, обшитый позументом. Разостлав скатерть, она стала готовить стол для утреннего чая.

Абай снял бешмет и начал умываться. Только сейчас он почувствовал в голове тяжесть после бессонной ночи. Макишь поливала ему, ухаживая за ним, как за гостем.

— Приятная нынче вода, полей-ка мне на голову, Макишь, надо освежиться, — попросил он сестру, подставляя затылок.

Оттерев лицо и руки, Улжан бросила взгляд на высокий стол и потом перевела его на сына. Лицо его было бледно, глаза покраснели.

— Так всю ночь и не спал, Абай-жан? — спросила она.

— Да нет, вздремнул среди ночи.

— А разве не путаются мысли, если сидеть без отдыха? Я раз спросила Кодыгу: «Какой же ты ночной сторож, если у тебя волк ворвался в отару? Ты, верно, спал?» А он и отвечает: «Как можно, я не спал! Правда, под утро мне показалось, что у верблюдов горбов стало вдвое больше, — а волк возьми да и пройди мимо меня, поджав хвост. Я думал — собака, и пропустил его». Будет ли польза от такого чтения, сынок, если под утро даже верблюжьих горбы в глазах двоются?

Шутка матери рассмешила и брата и сестру.

— Ты права, апа, но время не ждет — отец уезжает сегодня...

Улжан стала расспрашивать, можно ли по книгам узнать подробно, каким путем надо ехать.

— Хоть и не широкую проезжую дорогу, но какие-то тропинки я уже вижу, — ответил Абай и тут же поделился с матерью тем новым, что приобрел он за по-

следние дни.— Как будто сам я побывал там,— книги мне все рассказали об этих странах!

Он говорил так, словно нашел клад.

Улжан знала, что путь предстоит дальний. За чаем она продолжала расспрашивать сына о трудностях дороги. Таить от матери правду, которая была известна ему самому, Абай никогда не мог и не считал нужным. Но тут была еще и Макишь...

— Да, да, расскажи нам все, Абай, милый! — присоединилась она к матери. Нахмуренные брови и чуть побледневшее лицо выдавали ее душевную тревогу, и Абай, заметив это, помедлил с ответом.

Макишь была любимой, балованной невесткой богатого городского дома, но к своей семье и к родному аулу она продолжала хранить самую горячую любовь и всегда тревожилась об их благополучии. Надо родиться девушкой, которую смолоду отдают замуж на чужбину, надо видеть жизнь ее глазами, чтобы понять, в каких глубоких тайниках души скрывается эта тоска по родным, которая излечивается лишь временем, живет долго и проходит нелегко.

Поняв волнение сестры, Абай не захотел высказываться откровенно, но Макишь настойчиво продолжала:

— Говорят, там никто из наших краев никогда не бывал... Вернется ли он?..

Она вслух выговорила то, о чем Абай думал, но не рискнул бы сказать сам.

Сделав несколько глотков, он отодвинул пиалу с чаем, не притронувшись к горячим пирожкам, приготовленным искусным поваром на нижней кухне, и, взяв сделанные за ночь выписки, стал отвечать на расспросы Улжан и Макишь.

— Нелегко будет путь отца,— закончил он,— но надежда...

И сразу замолчал, увидев, как поникла Макишь. Улжан пришла ему на помощь:

— Пусть, уезжая, отец не подумает, что дитя его малодушно,— сказала она Макишь.

В дверь заглянули Такежан и Габитхан, предупреждая о приходе самого Кунанбая. Все, кроме Улжан,

вскочили и засуетились, застилая пол вокруг стола и раскидывая поудобнее подушки.

Кунанбая сопровождала целая толпа, но все остались в соседней комнате, такой же просторной и прибранной, где тоже накрывали на стол. С Кунанбаем вошли только Изгутты и хозяин дома — Тинибай, сват и старый друг Кунанбая, одетый изысканно и богато. Не проходя на почетное место, он опустился на корпе рядом с Макишь. Он не развалился на подушках, как мог бы сделать хозяин дома, но, подобно какому-нибудь ученику медресе перед наставником, присел на согнутых коленях, чтобы самому ухаживать за Кунанбаем и подавать ему чай из своих рук. Это всегда удивляло Улжан, но для городских такое поведение было привычным: так они встречали имамов и хазретов, подчеркивая свою учтивость и почтительность.

Кунанбай сел рядом с Улжан и бросил на Абая и Макишь острый взгляд — пронизательный взгляд своего единственного глаза, сразу определявший все оттенки настроения окружающих. Сейчас он, казалось, особенно пристально наблюдал за детьми, — покрасневшие глаза и бледное лицо Макишь показывали, что она только что плакала.

Холод старости уже коснулся Кунанбая, он начал сесть поздно — до семидесяти лет его голова и борода оставались чуть тронутыми серебром. Теперь седина взяла свое, морщины на лбу углубились, но, высокий и плотный, он держался по-прежнему прямо.

На суровом его лице не было сейчас ни тени колебания или волнения.

Ехать в Мекку на поклонение Кунанбай решил год тому назад. И решив, с прошлой же весны начал продавать скот, собирая средства на путешествие. Трудность была не в деньгах: его тревожила мысль о надвигающейся старости, об уходящих силах. Он долго раздумывал и, наконец, решил взять с собой человека, на которого мог бы опереться. Выбор его пал на Изгутты, постоянного и верного спутника. Вот почему всю дорожную одежду для Изгутты сшила Макишь своими руками, и поэтому же он сидел сейчас рядом с Кунанбаем.

Изгутты перевалило за сорок, но выглядел он двадцатипятилетним жигитом и был по-прежнему весел и предприимчив.

В комнату поодиночке стали входить ближайšie родные и друзья: Такежан и Оспан, Жакип и Майбасар, мулла Габитхан, давний друг семьи. Кунанбай молча пил чай, закусывая пирожками и холодным мясом. Те из родичей, кому не пришлось на прощальной трапезе сидеть вместе с ним за столом, теперь один за другим входили в комнату для последней беседы, и число их постепенно увеличивалось. Кунанбай, который хотел без лишних свидетелей обратиться к семье со словами прощания, понял, что если он еще хоть немного задержится, люди повалят толпой. Он снова взглянул на Макишь, и лицо его стало еще суровее.

— Дети мои, друзья, братья и родичи мои,— начал он, окинув холодным взглядом присутствующих. В комнате стало тихо, женщины перестали разливать чай. Кунанбай выпрямился и устремил прямо перед собой тяжелый взгляд одинокого глаза.— Вы, кажется, встревожены моим отъездом,— смотрите на меня с беспокойством: как, мол, он — старик — решается на это? Увидимся ли мы с ним? Вернется ли он?.. Не поймешь — меня ли вы от дороги бережете, или дорогу от меня... А что было бы хорошего, если бы я дожил до нудной старости, ворчал бы на внуков у очага, на невесток у котлов, на работников вокруг юрты? Путь мой — последняя цель моих последних дней. И я прошу вас всех: если справедливый смертный час настигнет меня в пути и вы узнаете об этом — пусть и тогда никто из вас не скажет с сокрушением: «Жаль его, он умер в скорби, не достигнув желанной цели». В таких словах нет истинного сочувствия. Молодость, которая для вас еще впереди, мною уже прожита, я вкусил уже и меда и яда, которые вам еще предстоит вкушать. Те дни, что мне было суждено прожить с вами,— много ли, мало ли,— мы прожили дружно, уважая друг друга. Я удовлетворен. Но хотя жизнь у нас одна — общая и слитная, смерть придет к каждому из нас по-разному. Каждого она вырвет из семьи поодиночке. А раз так — не все ли равно, где она настигнет меня?

Остаток моей жизни стал нынче коротким, как тропинка старого архара, не угнавшегося за табуном,— от водопоя до последнего логова в тесном ущелье. Так не становитесь поперек этой тропинки. Проводите меня без слез, рыданий и стонов. Вот все, что я хотел сказать вам. Теперь займемся нашими сборами.

И Кунанбай посмотрел на Изгутты. Тот встал, вслед за ним поднялась молодежь — Такежан, Габитхан, Оспан и другие. Абай хотел присоединиться к ним, но Кунанбай задержал его, положив ему руку на колено.

— Ну, сын мой, расскажи, что ты узнал?

Абай вынул из кармана большую пачку исписанной бумаги и передал ее Изгутты.

— В этом свертке все, что я нашел, Изгутты-ага, храните его при себе,— сказал он.

Кунанбай попросил его перечислить названия крупных городов, лежащих на их пути. Абай не раз уже рассказывал ему то, что прочел в книгах о странах, через которые должен был ехать отец, об их расположении, о занятиях, хозяйстве и обычаях жителей. Он не стал говорить о начале дороги: в Каркаралинске к путникам должен был присоединиться халфе¹ Ондирбай, которому, как знал Абай, места эти были хорошо известны. До Ташкента они будут среди казахов, а дальше их путь лежит через Самарканд, Мерв, Мешхед, Аспагань и Абадан. Потом им придется ехать либо через пустыни Аравии, либо кружным морским путем на корабле, чтобы высадиться совсем близко от Мекки. Этот второй путь, выбранный Абаем по книгам, представлялся самым коротким и удобным.

Халфе Ондирбай обещал Кунанбаю сопровождать его от Каркаралинска до самой Мекки. Для встречи с ним путешественникам нужно было ехать от берегов Иртыша через самый центр казахских степей, и Тинибай настойчиво советовал им ехать от Семипалатинска до Каркаралинска в удобной повозке, чтобы сохранить силы для дальнейшего пути, когда придется пользоваться самыми различными способами передвижения.

Просторная повозка, запряженная тройкой темно-

¹ Х а л ф е — духовное лицо, наставник в медресе.

рыжих коней, уже стояла на большом дворе Тинибая. Широкогрудые, откормленные за зиму овсом и тщательно выстоянные кони грызли удила и пофыркивали. Когда коренник встряхивал гривой, медный колокольчик на дуге издавал чистый, звенящий звук.

Еда на дорогу, постель, одежда — летняя и зимняя — все уже было уложено в повозку. Мирзахан давно сидел на козлах.

Когда весеннее солнце указало полдень, из гостеприимного дома Тинибая повалила толпа. Большинство были приезжие из аулов, одетые по-степному, но тут же попадались и гости из городских: купцы, шакирды¹, халфе и хазреты. Они выходили во двор, соблюдая чины и сан и удовлетворенно улыбаясь, довольные и угощением и наполненными карманами: Кунанбай и Тинибай щедро оделили их, прося молиться за путешественников.

Не успел Кунанбай подойти к повозке, как навстречу ему поднялись два человека. Один из них еще издали отдал салем Кунанбаю. Это был Даркембай; старость заметно тронула его бороду сединой. Второй был мальчик лет одиннадцати, бледный и истощенный. Ветхие лохмотья заменяли ему чапан, босые растрескавшиеся ноги были покрыты пылью и грязью.

Подойдя к Кунанбаю, Даркембай пожелал ему доброго пути и сразу же заговорил о своем деле.

— Вы отправляетесь в путь божий, Кунеке, — начал он. — Вы избрали путь смирения. Выслушайте мольбу другого смиренного: вот этого мальчика. Именно божьим он просил меня довести его нужды до вас.

Кунанбай насторожился. Он нахмурил брови и чуть замедлил шаг.

— Я отошел от дел мирских, — ответил он. — О нуждах теперь следует говорить не со мной, а с другими.

— Нет, Кунеке, наше слово обращено только к вам.

— Какое может быть дело ко мне у мальчика?

¹ Шакирд — ученик медресе.

— Дело у него именно к вам. Потому мы и пришли. Кунанбай искоса бросил взгляд на толпу: его заметно смущали городские купцы и муллы, заполнившие двор. Майбасар понял, что старика нужно немедленно увести.

— Эй, Даркембай, какие могут быть сейчас просьбы? — сказал он, подходя. — Нечего путаться в ногах у человека, который уезжает... Отойди!

Он сказал это вполголоса, но с многозначительной угрозой. Однако Даркембай не смутился. Заметив, что Кунанбаю неловко перед окружающими, он заговорил громче:

— Просьба этого мальчика такая, что ты должен прислушаться. Из тысяч жалоб нищих и сирых — эту ты должен выслушать. Непременно должен. Особенно теперь, отправляясь в путь божий...

— Кто этот мальчик? Что за просьба? Говори скорее... — Кунанбай, явно раздраженный, приостановился, насупив брови.

— Этот мальчик — племянник того Кодара из рода Борсак, — объяснил Даркембай. — Кодар погиб, а его единственный брат, Когедай, жил тогда в батраках далеко на землях Сыбана... Немощный был, всю жизнь болел, умер шесть лет назад... Кияспай, сын Когедая, — единственный наследник Кодара. Вот этот мальчуган.

Тот легкий пушок, который придает нежность детским чертам, на изможденном лице Кияспая походил на болезненную плесень: под кожей была видна каждая косточка, на висках бились синеватые жилки, правый глаз был повязан грязным лоскутком. У мальчика трясся подбородок, — с трудом сдерживая слезы, он поднял боязливый взгляд на Кунанбая и встретил ответный, полный холодной ненависти.

— Так что ему от меня нужно? — спросил Кунанбай.

— А чего ему от тебя не нужно? — как эхо откликнулся Даркембай, смело глядя Кунанбаю прямо в лицо.

— Ну, рассказывай, в чем дело... Отойдем сюда... Позволить старику говорить при всех — значило принять на свою голову удар, и Кунанбай с самого на-

чала разговора незаметно оттеснял его и мальчика от толпы и теперь присел с ними в углу двора.

Стоявшие во дворе иргизбай — и старшие, и молодежь — все, как на подбор, были нарядно одеты. Особенно щеголяли и покроем, и новизной, и стоимостью платья горожане — купцы, имамы, халфе. Их белоснежные чалмы, чапаны и отороченные бобром шапки свидетельствовали о богатстве и довольстве. Рядом с этой нарядной толпой Даркембай и мальчик, изможденные, страшные в своей нищете, казались еще более убогими. Лохмотья их были изодраны так, будто эти пленники тяжелой нужды перенесли побои и истязания.

Вслед за Кунанбаем из толпы провожающих вышли Майбасар и Такежан и присели возле него. Абай направился за ними. Когда он подошел, говорил Даркембай:

— Кодар ни в чем не был виноват... Но тогда никто не осмелился и заикнуться о куне¹. Кто поднял бы голос? Была твоя пора — суровая пора.

«Твоя пора»... Эти слова задела Кунанбая. Он прервал громко и гневно:

— Что ты мелешь, Даркембай? Говори прямо, кто из бокенши или борсаков послал тебя взыскивать с меня кун за Кодара? Назови мне их!

Набожное смирение, которое всем своим видом выказывал Кунанбай с самого утра, сейчас как рукой сняло. От него пахнуло давней яростью и враждой. Бледный до синевы, нахмуренный и грозный, он, казалось, явился из мира когтистых хищников, готовых к прыжку, чтобы растерзать добычу.

Но Даркембай не смутился и тут.

— Нет такого борсака, который осмелился бы требовать от тебя возмещения: не пришла их пора. Не о куне я говорю. Но что ты скажешь об урочище Карашоки? Ведь эта земля — наследство Кодара. Она принадлежит мальчику, а на ней аул твоей старшей жены Кунке множит свои табуны и живет в полном довольстве. Ты в святые места идешь — неужели понесешь

¹ К у н — возмещение за убийство.

туда на своей шее греховным ярмом долг горькому сироте?

— Молчи! — повелительно крикнул Кунанбай.

— Да я уже все сказал...

— За всю жизнь у меня не было более злобного врага, чем ты!.. По пятам за мной ходишь! Глаза у тебя, как у хищника, кровью налиты!

— Нет, Кунеке. Никогда я не был зачинщиком злого дела. Всю жизнь я только свою голову от зла защищаю.

— А кто в меня из ружья целился? Не ты ли?

— Целился, да не выстрелил... А того, кто на меня и петлю накинуд и повесил, земля все еще носит!

Даркембай, бледный и взволнованный, смотрел на Кунанбая не отрываясь. И как ни страшен был гнев Кунанбая, слова эти поразили его так, что он даже задрожал.

— Не выстрелил тогда — сейчас выстрелил... В гроб мой выстрелил! — И он резко повернулся к Майбасару. — Ведь он меня за ворот хватает!

Кунанбай точно жаловался на свою беспомощность. «Как только ты допускаешь это?» — говорили его слова.

Майбасар, тяжело дыша, придвинулся к Даркембаю. Заслонив собой старика от толпы, он злобно выругался и ударил его кулаком в грудь.

— Захлопни пасть! — угрожающе зашипел он. — Только пикни еще — схвачу за бороду и прирежу, как козленка!

Кунанбай поднялся с места. Такежан и Майбасар наступили коленями на отрепья Даркембая, не давая ему встать. Маленький Кияспай заплакал в голос.

— Долг на твоей шее... долг мне... — повторял он.

Два сильных жигита держали Даркембая, но он бросил в спину уходившему Кунанбаю свое последнее слово:

— Вчера ты помыкал нами как ага-султан, а сегодня хочешь сесть нам на шею как святой хаджи! Не божью тропу — опять свою, Кунанбаеву тропу прокладываешь!.. Что ж, вели своим волчатам терзать нас!

— Молчи!.. Старый пес!..— шипели с двух сторон Майбасар и Такежан. Они готовы были тут же расправиться со стариком.

Абай быстро подсел к ним спиной к толпе. Резким рывком он оторвал руки, вцепившиеся в ворот старика.

— Бессовестные! Проклятые! Оставьте его! — крикнул он. На его лице, от которого отхлынула кровь, гневно горели глаза.— Что вы понимаете? О чем способны думать вы, люди со слепым сердцем и глухой совестью? Отец перед богом держит ответ в том, что говорил старик, для того и едет в Мекку!..

Гнев не утихал в Абае. Так же сурово глядя на Даркембая, он продолжал:

— Я вижу, ты не в силах был молчать, Даркембай. Я не осуждаю тебя: раз просьба справедлива — пусть она будет высказана даже и в такой час... Я твой должник за отца. Иди, дорогой мой, но не проклинай нас. Слова твои дошли до меня, до мозга костей прожгли... Но сейчас — уходи...

Он помог Даркембаю подняться, достал из кармана сторублевку и, отдав ее Кияспаю, сам проводил их со двора.

Кунанбай долго не мог сказать ни слова и стоял недвижно, читая про себя покаянную молитву. Изгутты и Улжан, подойдя, вывели его из оцепенения, напомнив, что пора трогаться в путь. Кунанбай коротко попрощался с горожанами и сел в повозку.

Улжан села между ним и Изгутты,— она решила проводить мужа вместе с остальными родичами.

Щегольская повозка, запряженная тройкой темно-рыжих, выехала из широких ворот, грохоча и звеня колокольчиком. За нею вереницей потянулись провожающие — кто на телегах, кто верхом. Сразу за первым возком выехали еще две новенькие повозки. в одной из них были Макишь и Абай, в другой — Тинибай со своей байбише. Шумный поезд, поднимая тучу пыли, с грохотом растянулся по всей улице. Жители города, и стар и мал, с любопытством провожали путников,— кто стоя у ворот, кто высунувшись из окна.

Тройка Кунанбая скоро достигла окраины города и выехала на большую дорогу, ведущую на запад. Всад-



ники то растягивались вдоль всего поезда, то скучивались впереди.

Кунанбай ни разу не оглянулся назад, он знал, что родичи проводят его по крайней мере до первой ямской станции. Молчаливое раздражение долго не покидало его. «Чистую воду взбаламутил... Грязь со дна поднял...» — повторял он про себя: ему казалось, что он видит перед собой водоем, спокойная глубь которого вдруг всколыхнулась и помутнела от брошенного камня. Все шло так хорошо: он заранее продумал и взвесил каждое слово, каждый поступок до самого отъезда — и с утра следовал принятым решениям. И смиренными речами и благочестивыми делами он должен был вызвать в провожающих самые искренние пожелания счастья на его пути. А Даркембай, словно неожиданно налетевший ураган, разметал все это, вырвал Кунанбая из мирной тишины прощальных минут, оттеснил от людей. Возмущенный этим, Кунанбай долго молчал, пересиливая в себе ярость. Наконец он решил попрощаться с Улжан и рассеять муть, поднявшуюся в его душе.

Приказав Мирзахану не задерживать хода коней, он повернулся к Улжан. Изгутты, давно привыкший угадывать его мысли, подвинулся к козлам, чтобы дать Кунанбаю возможность поговорить с женой. Следя за изгибами дороги, он повел с Мирзаханом беседу о том, как поздно зазеленели деревья и как долго держались холода в этом году.

Кунанбай взглянул на Улжан.

— Никогда не была ты только хозяйкой моего очага, — заговорил он, — ты была спутницей всей моей жизни, байбише... Немалый путь прошли мы вместе. И за какими бы перевалами ни приходилось мне бывать, всегда я чувствовал в тебе опору... И если я виноват в чем-нибудь перед тобой, то тебя мне упрекнуть не в чем. Пусть даст судьба счастье твоим детям за твое честное сердце, за твою искреннюю привязанность ко мне...

Улжан, растроганная и потрясенная, сильно побледнела. Она долго молчала, подавляя волнение.

— Я не пошлю с тобой в путь не только упрека,

но и малой обиды, мирза,— начала она. Взгляд ее выражал глубокое раздумье.

Умно и проникновенно делилась она сейчас с мужем всем, что было у нее на душе, как с равным себе человеком. Она снова стала величественной и красивой, и лицо ее осветилось каким-то внутренним светом.

— В молодости человеку тесны и постель, и дом, и самый мир,— продолжала она.— Начнет стареть — и мир кажется ему все просторней, а сам он — все меньше. И, чувствуя вокруг себя огромную пустоту, он уступает место другим, сокращает дела свои, остывает, умиротворяется... Мной это чувство владеет давно...

Она снова задумалась. Кунанбай внимательно следил за ее мыслями, словно оценивая их глубину ответным понимающим взглядом.

— Муж для жены — всегда опора, словно матка для жеребенка,— снова заговорила Улжан, прищурив слегка глаза.— Жена перенимает от мужа и лучшее и худшее. Если во мне есть что-то хорошее — значит и тебе оно не чуждо. И недостатки мои и достоинства — от тебя же. Раз ты прощаешься со мной с благодарностью — я довольна.

Ни одного звука не проронила она об обидах, которые перенесла за долгую супружескую жизнь.

Кунанбай перевел разговор на повседневные дела. Изгутты принял участие в беседе. Речь пошла о халфе Ондирбае: он всегда пользовался уважением мирзы, а теперь, сопровождая его в Мекку, становился самым близким ему человеком, связанным с ним крепче всякого кровного родства.

Ондирбай высказал однажды желание породниться с Кунанбаем, поженив кого-либо из детей. Кунанбай склонен теперь дать свое согласие. Если Улжан ничего не имеет против — у Ондирбая есть дочь на выданьи, девушка может стать хорошей невесткой. Младший сын Кунанбая, последыш Оспан, еще не перебесившийся забияка, женат уже около трех лет. Бездетность его печалит и Кунанбая и Улжан, хотя самого его это мало тревожит. Теперь это повод сосватать за него еще одну девушку. Пусть Улжан будет готова: если Ондир-

бай возобновит в дороге разговор о сватовстве, она узнает об этом от Мирзахана...

Во второй повозке, запряженной тройкой саврасых, ехали Абай и Макишь. Каждый был погружен в свои думы. Оторвавшись от домашних хлопот, Макишь перестала сдерживаться и то и дело принималась плакать. Абай пытался уговаривать ее, но все было напрасно. Тогда он замолчал и отдался своим мыслям.

Смелый поступок Даркембая не выходил у него из головы: казалось, будто старик одним пинком опрокинул почетную чашу, приготовленную для Кунанбая. Кодар, Кодар!.. Безвинная жертва Кунанбая снова ожила в несчастном сироте... Истощенный мальчик так и стоял перед глазами Абая — с грязной повязкой на лбу, стиснувшей его голову, словно обруч горькой доли... И этот ребенок в своей вопиющей нищете, и укор Даркембая, горячий и справедливый, — все вместе было приговором, вынесенным Кунанбаю самой жизнью. Никакие молитвы, намазы, пост, паломничество не сотрут его. Вот если бы отец уезжал, раскаиваясь в своих грехах и преступлениях!.. Нет, не раскаянье было в нем — в нем была прежняя суровость и гнев... Но если так — для чего тогда отцу это паломничество? Значит, Даркембай и тут прав? Не божьего, а своего, кунанбаева, ищет он на новом пути?.. Абай усмехнулся с горьким раздражением.

Повозка быстро катилась по обочине тракта, покрытой молодой, невысокой еще зеленью.

Абай давно не выезжал из города. Здесь, в степи, весна была более заметна. Слева, далеко на горизонте, окутанная синеватой мглой, виднелась Семей-гора, уже сбросившая свой снеговой покров. Она стояла одиноко, подобная громадной пологой волне, которая некогда в буйном порыве накатилась на степь и вдруг с разбегу остановилась, застыв навеки. А может быть, это сама степь, такая недвижная теперь, когда-то, возмущившись, вытеснила из своих недр гору-волну и замерла потом в смиренной тишине?..

Абай сбросил с головы тымак¹. От Семей-горы

¹ Тымак — меховая шапка.

тянуло освежающей прохладой. Абай глубоко вздохнул от неизъяснимой радости и облегчения. Как-то особенно полно ощутил он и красоту земли и свободу своего сердца. И эта молодая, едва пробивающаяся зелень, и яркий весенний день, и прохладный ветерок наполняли его бодростью, и звуки новых песен, переплетаясь с новыми стихами, возникали в его душе. Сам того не замечая, он запел. Макишь невольно прислушалась. И она поняла: не чужую песню пел сейчас ее брат, это была его собственная песня.

— Да ведь ты акын, Абай! — улыбаясь, сказала она.

Абай совсем забыл о Макишь. Услышав ее голос, он вздрогнул и смущенно замолчал.

— Почему ты так говоришь? — через минуту спросил он.

— Так я же слышу!.. А ты скрываешь, что ли? Да об этом все твои друзья говорят — и Ербол и другие. Хотя ты ни разу не пел на айтысах, они твердят, что ты настоящий акын... Выходит — правда?

— Правда, — улыбаясь, ответил Абай.

— А о чем ты поешь?

— Ах, Макишь, милая, песни мои уносит ветер...

— Как это?

— Я пою о любви и печали. Печаль моя близка и неотступна, а любовь — далека и невозвратима. Петь об этом — не все ли равно что петь на ветер?

— Печаль? О чем у тебя может быть печаль, что ты говоришь?

И Макишь с укором посмотрела на брата. Абай нахмурился и побледнел.

Под пытливым взглядом Макишь лицо Абая, казалось, излучало какой-то мягкий свет. Полное и круглое, оно не было тронато ни одной морщинкой, чуть подстриженные тонкие усы и небольшая черная борода в меру удлиняли его овал. Абай был в полном цвету своих двадцати девяти лет. Глаза были ясны, горящий внутренним огнем, чистый их взгляд был и красив и пронзителен и как магнит притягивал к себе взоры. Тонкие и длинные черные брови подчеркивали красоту его молодости.

Макишь смотрела на брата с молчаливым восхищением. Казалось невероятным, что он таит в себе какую-то печаль, и она решила вызвать его на разговор:

— А что ты пел о своей печали?

Далекая мечта юности, чудесным видением жившая в сердце Абая, с новой силой вспыхнула в нем. Когда-то весь жар своего чувства он вложил в слова песни — и песня эта с тех пор стала неотлучной его спутницей. Он вдруг живо вспомнил все: и ночь на жайляу Жанибек, и качели в ауле Суюндика, и юную тайну двоих, скрытую в песне, и Тогжан, летевшую к нему навстречу с каждым взмахом качелей... Не в этой ли песне слились их сердца на глазах у всех?..

Весенний день вызвал в нем острую тоску о Тогжан. Сердце его само шло навстречу просьбе сестры, и он запел снова «Топай-кок». Он пел вполголоса, и Макишь внимательно вслушивалась в слова, полные грустной нежности.

Сияют в небе солнце и луна.
Моя душа печальная темна:
Мне в жизни не найти другой любимой,
Хоть лучшего, чем я, себе найдет она.

И пусть любимая, забыв любви слова,
К моей тоске и верности мертва,
Унизит, оскорбит меня без сожаленья,—
Я все стерплю — моя любовь жива...

Абай замолк. Лицо его еще больше побледнело. Это была песня о нем самом и о ней — о двоих влюбленных, обреченных суровой судьбой на разлуку, сгорающих в пламени неосуществленной любви. Песня была как тяжкий вздох печали, теснившей его сердце.

Слова песни были необычны для Макишь. Недоумевая, она спросила:

— Не поняла я, кого ты зовешь любимой?

Абай не хотел открываться сестре.

— Любимая — та, о ком моя печаль... Разве ты не знаешь, что такое — любимая?

— По-моему, любимой зовут спутницу жизни.

Абай нахмурился.

— Ты хочешь сказать — Дильда?